

18+

СТАНИСЛАВ ШУЛЯК

Новый Ницше

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ



Станислав Шуляк

Новый Ницше. и другие рассказы

«Издательские решения»

Шуляк С.

Новый Ницше. и другие рассказы / С. Шуляк — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-748307-4

В книгу «Новый Ницше и другие рассказы» входят девять лучших рассказов Станислава Шуляка. Они представляют собой некий своеобразный сплав Гофмана с Достоевским и при том совершенно оригинальны. Рассказы мрачны, мизантропичны, саркастичны, параноидальны, это — настоящее пиршество литературного абсурда и житейской психопатологии, и ещё это — современный декаданс, вдохновенный и последовательный.

ISBN 978-5-44-748307-4

© Шуляк С.
© Издательские решения

Содержание

Новый Ницше	6
Зеркало	18
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Новый Ницше и другие рассказы Станислав Шуляк

© Станислав Шуляк, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Новый Ницше

Я высок, я довольно высок, я выше многих, и мне почти всегда приходится пригибаться. А они нарочно строят все свои трамваи, все свои притолоки, укрепляют все свои поручни так, чтобы я повсюду ходил с опаской, с изогнутой спиной, со склонённой головой. Они свой мир строят для низкорослых. Если забыть о предосторожности, можно с размаху разбить себе голову, и не просто в кровь, но разбить её совсем. В голове моей – моя жизнь, крепость моей головы и цепкость моей жизни непосредственно связаны. Причём осторожничать приходилось и на улице, где сверху, казалось бы, ничто не угрожало. Я знал несколько историй о таких же, как я, высоких людях, которые на улице вдруг спотыкались по неосторожности, ударялись головой об асфальт, о стену дома или о поребрик и разбивались насмерть. В сущности, всё высокое обречено, в этом у меня не было никаких сомнений. Обречённость низкорослого тоже была несомненна, но всё же она несколько иного рода.

Иногда хотелось напрочь забыть о всех предосторожностях, хотелось отдаться безумству, безрассудству, отчаянью, и когда-нибудь я обязательно сделаю это. Может даже, и скоро, очень скоро. Пусть моя свобода будет до первого дверного косяка, до первой притолоки; любая свобода – до первой серьезной преграды, а далее уж наступает нечто большее, чем свобода и даже чем сама жизнь, и вот это-то большее меня зачастую и манит. Если же вам вдруг потребуется идеолог безрассудства, самоотверженности (а он вам когда-то непременно потребуется), зовите меня, во мне немало толпится соображений по сим недвусмысленным поводам. Но вы уж, конечно, никогда не дождетесь, чтобы я стал навтыжку перед обстоятельствами.

Я ехал на трамвае по Петроградской. Сей жалкий транспорт с трудом находил для себя путей, на него давно уж ополчились здешние градоначальники, изгнали почти уж отовсюду, но до конца всё-таки не изгнали, оставили самую скудную кроху его призрачному существованию, по крайней мере до следующего неприязненного взгляда начальственного ока, до следующего рыка властной гортани.

Рядом со мной сидел потный желтушный юноша, читавший Солженицына. Я не подглядывал обложки книги, мне не было в том нужды: Солженицына я всегда и так за версту чую. Впрочем, я никогда его не любил, он слишком слезлив, надменен и пустословен, у него мозг мягкий.

Всякому, поневоле возвышающемуся, следует перескакивать надуманные ранги гения и пророка и возноситься сразу на три горделивых ступени выше. Я сидел, скрючившись, рядом с этим юношей с его холопым чтением. Эта незрелая, неразвитая жизнь прямо рядом со мною была для меня невыносима. На коленях я держал котомку, и всем содержимым оной были лишь два предмета. Я хорошо знал оба эти предмета, я давно думал о них, я твердо знал предназначение обоих. С бутылкой следовало быть осторожным, она была слишком хрупкою и беззащитною, а вот второму предмету не угрожало ничто, я возлагал на него большие надежды. Он мне поможет, он мне поспособствует. Голова моя – зона моей рутинной боли, живот – зона клочкотания, ярости, низ живота – зона огня, жадного и безжалостного. Чёрт побери, сегодня я утолю свой огонь, я обуздаю его, я преподам сегодня всем своим завистникам и недоброжелателям урок возмужания. Впрочем, я солгал, причём нарочно солгал: в котомке было не два предмета, там были ещё и туфли. Туфли, которые я любил.

– О, это непростые туфли! – беззвучно бормотал я. – Это особенные туфли! – внутренне хохоча и восторгаясь, бормотал я. Во мне временами была чрезмерно возбуждённая моя вегетативная умственная система.

Желтушный юнец вдруг отчего-то занервничал, стал суетливо озираться, потом даже захлопнул своего Солженицына. Может, что-то почувствовал? Да нет же, вздор! Что он мог почувствовать, этот молокосос, этот жалкий застрельщик прописных истин и низкорентабель-

ных представлений? Тот, кто повсюду читает Солженицына, вообще ни черта не чувствует! За него Солженицын чувствует.

Трамвай был, кажется, где-то возле Малого проспекта, когда я торжествующе выскочил из него. Молокосос был повержен, посрамлён в своём глупом юношеском обывательстве, я же заслуженно ликовал. Когда трамвай тронулся, я через стекло погрозил юнцу кулаком. Он лишь дураковато разинул рот и вытаращил глаза. Котомка моя была при мне, и это являлось не только предельно важным, но даже и неоспоримым обстоятельством.

Давным-давно я истребил уж в себе едва теплившееся прежде контемплиативное начало.

Я лишь совершенно не мог позволить теперь никакого разгула бессодержательного. Вот когда дело будет сделано – тогда ещё, как говорится, туда-сюда... сейчас же... Нет-нет, это абсолютно невозможно!

Я крался одною неразглашаемой улочкой, в сторону... впрочем, не стану определять и сторону. Не желаю давать повода для искушений. Всегда ведь после могут найтись иные безумные мои почитатели (о, такие тоже имеются, это несомненно), которые вознамерятся прошагать моим путём, с точностью до полуступни, до полувздоха, полумизинца, полуволоса, желая вкусить моих ощущений, моих желаний, моих смыслов, моих символов. Итак, более ни единого топонима, ни одной приметы, ни чёрточки, ни даже полчёрточки, всё происходит где-то, или не происходит вовсе, а где оно происходит или не происходит – о том догадайтесь сами. Но если и суждено вам даже догадаться чудом, заклинаю вас, лицемеры и праздношатающиеся, пройдохи и апологеты, заклинаю всею безудержной силою сердца своего и нервов: молчание! молчание! и в мыслях ваших молчание и во вздохах груди вашей, трепетной, обескураженной, молчание!.. молчание!..

Вот я со всеми мыслимыми предосторожностями добрался до одного двора, вошёл... потом, быть может, вошёл в другой двор, во второй, или – нет, остался в первом, или даже вообще – вышел из этого, добежал до следующей подворотни, а там уж повторил все свои ухищрения. Короче, какое вам дело? Что, съели? Впрочем, это всё совершенно не важно. Может, я ничего этого и не проделывал. Чёрт побери, уж не вообразили ли вы, что у меня от вас какие-то секреты?! Нет у меня от вас никаких секретов, помимо слов моих, но слова мои, даже во всей простоте их, всё равно для вас останутся неведомы.

А точно ли вы знаете, что я теми же самыми словами, что и вы меж собою говорите, с вами говорю?! Может, слова мои твёрже, энергичнее, безжалостнее ваших?! Мои слова – редкоземельные металлы, благородные сплавы. Может, стиснулись они в самой последней упругости, за которую только крушение языка, человека и даже самого мира?! Не таковы ли мои слова? Уместятся ли они все с их ликующей правдой в ваших перекошенных ротовых отверстиях, совладают ли с ними ваши дряблые гортани, не поперхнутся ли ими ваши слабосильные лёгкие?!

Дверь в парадное была распахнута настежь. Она как будто приманивала вашего покорного слугу. Последнее – шутка! Даже под страхом смерти, нет... что смерть? смерть – тьфу!.. под страхом самой жизни вы не заставите меня вам служить, истинно говорю вам!.. Мне с некоторыми моими идеями следовало бы арендовать у мира иную его бесполезную обочину, но уж зато потом на свою обочину ни под каким предлогом не пускать сам этот мир.

Я вошёл в дом, привычно пригнув голову в дверном проёме. Во мне бушевало безразличие, меня тянуло на какое-нибудь предательство, очертаний которого я никак не мог придумать, но мне изрядно приходилось сдерживаться, чтобы не свершить его тотчас же, нераспознанное, неисчисленное.

Здесь уж я остановился. Здесь всё звучало гулко и громогласно, а это вполне мне могло подойти. Я поставил котомку на пол, да не слишком осторожно, так что едва не раскокал бутылку и даже испуганно ощупал её, но – нет, всё было в порядке. Я бережно достал из котомки

свои любимые туфли, особенные туфли, потом, присев на одну из ступенек, переобулся. Уличные засунул в котомку или даже бросил прямо тут, на площадке, не стану утверждать точно.

Я встал, поправил на себе одежду и вдруг стремительно, дробно притопнул деревянными подошвами туфель. Звуки крупным горохом отразились от разрисованных стен, от заплёванных мутных окон, метнулись до самого верхнего этажа и после вернулись, замысловатые, сухие, стремительные. Потом была пауза, я перевёл дыхание, или я набрался нового дыхания, мне его ещё понадобится немало, я знал это, и вдруг выдал молниеносную пулемётную очередь, зайдя в неудержимой, величественной чечётке.

Я подхватил свою разнесчастную котомку, с литровой бутылкой жгучего самогона тройной очистки, с крепкою плетью, сжал её в объятьях как женщину, как самую прекрасную, самую податливую...

Очередь...

– Марфа! – лучезарно крикнул я.

Очередь...

Я отстукивал свой танец на каждой из ступенек, сколько бы их ни было – мне всё казалось, что их мало.

Я сам сделался образом движения, я без остатка растворился в своей блаженной кинестетике.

– Марфа! – ещё громче крикнул я. – Я здесь! Я уже иду!

Очередь...

Второй этаж Марфы был близок, лестничная площадка содрогнулась здесь от *allegro risoluto* моих деревянных подошв. Бесчинствующий я приплясывал и звонил в Марфину квартиру, стучал кулаком в дверь. Самогон плескался в бутылки, рукоять плети давила мне где-то под мышкой. Марфа, страшись, должно быть, пересудов таких же, как и она, обывателей, всей этой домовитой сволочи, поспешно отворила мне дверь.

– Ты с ума сошёл!.. – полушёпотом воскликнула она. Глаза её были, будто тусклый мельхиор, заметил я.

– Не говори так со мной, женщина! – строго сказал я, наконец, обрывая свой ликующий танец.

Сознание подлости мира давно вошло у меня в привычку, но он всё же меня временами смешит своим систематическим идиотизмом.

– Заходи скорее, – сказала ещё Марфа, за рукав втаскивая меня в прихожую.

Я с достоинством отстранился.

– Говори мне: «Господин»! – приказал я.

– Заходи, господин, – послушно повторила Марфа.

Так уже было лучше. Я смягчился. Эта женщина ни в чём не виновна – ни в своей простоте, ни в том, что она – женщина, ни в том, что не осознает пока вполне моего непрекращаемого значения.

Наши ликования – злейшие враги наших аорт, они – главные угрозы тех, главные опасности. Так много всего небывалого теснится всегда в моей крови! В человеке, чего ни коснись, всё обратно пропорционально протяженности времени, истекшего с Сотворения мира. Возможно, я призван, чтобы опровергнуть все человеческие основания, сколько бы их ни было, но уж, во всяком случае, мне не следовало поддаваться их пьянящим соблазнам. Ещё немного, и я объявлю священную и громогласную войну всем этим вашим журналам и издательствам. «Азбука», трепещи! «Новый мир», готовься к моей враждебности! «Знамя», скукожься до размеров ничтожной комнатки в каком-нибудь тёмном подвале! Я смотрю на вас всех и вижу, как вы мелки, как вы опасаетесь моего слова!..

– Я пришёл... – потоптавшись, сказал я.

– Да, господин, – согласилась Марфа. Вблизи носа её красовалось несколько крупных веснушек – эти странные явления легковесной солнечной дактилоскопии.

– Как и обещал, – сказал я.

– Я рада тебе, господин, – сказала Марфа.

– Так, – сказал я.

Женщина смотрела на меня с теплом и трепетом. Я долго добивался этих тепла и трепета, дистиллированной незамутнённости этих тепла и трепета, и вот теперь я мог пожинать плоды. Я и пожинал. Мне не надо было теперь никакого восточного деспотизма, я его не хотел, я относился к тому с подозрением, я всегда жаждал лишь диктатуры личного превосходства.

– Взгляни, что я принёс, – сказал я. И нарочно сперва вытащил бутылку из котомки. – Тройная очистка, – сказал я.

Марфа даже тихонько взвизгнула от удовольствия. В этом было, пожалуй, некоторое преувеличение. Впрочем, самогон здесь, конечно, совершенно ни при чём. Дело было во мне, в моем внимании, в моей заботливости.

И тогда я достал плетку.

– А вот ещё, – специально без всякого выражения сказал я.

Марфа молитвенно сложила руки и вся потянулась в сторону плётки.

– Хочу! Хочу! – было написано на её лице.

Но я был суров и отдал ей бутылку.

Марфа послушно приняла от меня самогон и повлекла меня за собою в гостиную. Там было видно, что женщина меня ждала, видно по нехитрой снеди, собранной на столе, но также и по разложенной постели. Эти самки много циничнее нас, что бы там такое на себя ни напускали. Я вижу их всегда насквозь.

Посередине стола красовалась открытая бутылка вина, но Марфа отвергла своё вино и налила в две приземистые стопки моего самогона. Одну протянула мне и застыла в немом вопрошании. Я помедлил, помолчал с поджатыми губами некоторое время.

– Что ж... – потом сказал я, – за небытие в нас! – и ещё вдруг добавил значительно: «И за нас в небытии!..»

Марфа помолчала, обдумывая услышанное. На лице её виделось недоумение, от которого я немного даже покоробился. Лучше бы она попридержала при себе это её косное недоумение. Словом – мне оно не понравилось.

– Это очень важно, – всё же поспешил подтвердить я. – Человек слишком носится со своим содержанием, которого сам не понимает, в котором сам себе никогда не дает отчёта. Тогда как отсутствие, ничто, небытие – много искреннее. Они обещают и не обманывают. Разве не следует нашему неизбежному петь хвалы? Разве не следует молиться тому и призывать его? Разве не следует нам алкать его будущих приношений?

– Да-да, – неуверенно сказала Марфа.

Я ударил своей стопкой о её стопку, чтобы не дать её сомнениям возможности укорениться в её скудном мозгу, и мы выпили.

– Капустки, – сказала Марфа. – Картошечки! Огурчиков!..

Самогон едва-едва ворвался в мой пищевод, и меня тут же чуть не вырвало. Но только не от самогона, разумеется. Глупец тот, кто мог бы подумать, что от самогона! Я даже отказываюсь говорить в дальнейшем с этим идиотом, если он обо мне мог подумать такое. Меня чуть не вырвало от этой гнусной русской бабьей пряничной округлости. Огурчиков!.. Сами ли они не понимают, что гнусны?! Гнусны, когда говорят своими лакейскими словами, которые будто бы хрустом исходят у них откуда-то из-за ушей, когда жрут, пьют, смеются, сморкаются, плачут... Или, если и понимают, то значит нарочно делают и говорят так, нарочно хотят вовлечь меня в свою гнусность, в свой низкий хоровод?! Когда-нибудь я ещё накажу, истреблю

сей отвратительный русский дух, дух недостойнства, дух мутной холопией крови, насмеюсь над ним, изглумлюсь и отвергну!..

– Женщина! – заорал я едва только смог.

– Да, Федя, – сказала она. – Да, господин, – поправились ещё.

Я схватил плётку и с яростью потряс ею перед лицом Марфы.

– У-у!.. – погрозил я.

Но Марфа, кажется, не испугалась угрозы, она даже, напротив, будто вцепилась в неё.

– Ударь меня! – взмолилась Марфа. – Ударь! Хлестни посильнее!..

Я смотрел на неё с отвращением. Я хотел эту женщину, с её фальшивой, церковно-приходской русскостью, но я так же или даже больше ещё её ненавидел. Да что же это вообще такое? Она была моя, целиком моя, с ней возможно делать всё, что мне было бы угодно. И что же? В шесть-семь блаженных конвульсий излить себя всего, без остатка – и в этом весь человек? И он ещё называет себя царём природы? Да, в этом весь человек, в этом весь царь природы, с его пресловутыми доктринами и миропорядками, с его идеалами и концепциями, но ведь, если и так, то какие ж тогда необходимо изобрести для сих немыслимых молниеносных мгновений величественные, мистические обрамления?! Сознает ли это человек? Понимает ли?.. Не станем обольщаться! Но я-то ведь сознавал... Иные идеи мои зачастую были сложны, как нуклеиновые кислоты.

– Женщина, – ещё раз сказал я, но уже тихо, почти беззвучно.

– Выпори меня, – прошептала Марфа. – А потом трахни.

– Вниз! – холодно сказал я. – На пол.

Марфа опустила предом мною на четвереньки. Её волосы ниспадали на мои ступни, а я как раз собирался зайти в кратковременном приступе моей ослепительной чечётки, неудержимом, как кашель, блаженном и самозабвенном, будто оргазм. Женщина же мне препятствовала, женщина мне мешала.

– Назад! – воскликнул я.

Но Марфа не слушала.

– Ударь меня! – умоляла она, целуя мои ноги.

Я оттолкнул её. Плётка свистнула, и упругий хвост оной с протяжкой прошёлся по спине Марфы и её заду. Женщина взвизгнула от боли и удовольствия. И вот же оно, вот же оно, наконец! Я снова был великолепен, я был суров, всевластен и безжалостен. Сухая короткая дробь чечётки метнулась по комнате. Если что-то и оправдывает человека, так это только любовь, но лишь в её немыслимых, разнообразных и отчаянных формах. Вы-то, конечно, забыли об этом, да вы, впрочем, и не знали этого никогда, чего уж там греха таить! За это-то ваше незнание только я вас и люблю, за него-то только я вам и соболезнаю...

Марфа снова тянулась к моим ногам, и я ещё раз хлестнул женщину. Её следовало бы пороть до крови, до полусмерти, плети любят мараться в крови исхлёстанных. Поделом же и тем и другим. Я – принципиальный противник стройных философских систем. Я – сторонник систем размашистых, беспорядочных, и, если в них одно противоречит другому, так я не ставлю себе целью примирить одно с другим, я не бываю на стороне ни одного, ни другого, но лишь принимаю сторону противоречия.

Великое тяготеет к великому. Когда я в своём доме перед раскрытой форточкой, ко мне влетают не только комары и мухи, но иногда и орлы. Если бы я курил, то за неимением спичек прикуривал бы от молний. Отчего нынче не делают сигарет с прибавлением фимиама? Они бы мне подошли, возможно. Во всяком случае, стоило бы попробовать. Собирайтесь же ко мне добровольцы, сходите ко мне избранники, спешите все на строительство здания нового вашего раболепия, новой вашей покорности!.. Сложите все свои человеческие звания к моим подошвам, забудьте все свои достоинства, отряхните с одежд своих прах и тлен гуманизма!..

Я уж порядочно возбудился. Столько света и восторга было в этих моих минутах, сколько не было их во всех прошедших годах жизни.

– Одежда! – крикнул я.

Но об этом можно было и не напоминать. Марфа уж срывала с себя свою блузку, обнажая свою полную спину со светлой упругой кожей, белый лифчик, чуть далее уже разгорались нездоровую краснотой следы от моей безжалостной плети.

Изгонял ли я теперь кого-то из храма? Нет, не так, все нынешние изгнанные изгнали себя сами, мне же лишь оставив удел ритуального подтверждения сего свершившегося факта.

– Господин! Господин! – стонала Марфа.

Я не хотел, чтобы всё произошло слишком уж быстро.

– Ещё выпить! – прорычал я.

Марфа проворно вскочила на ноги, вся растерзанная, смущённая, прекрасная, и стала наливать самогон в стопки своими трясущимися руками. Напиток проливался на стол, на руки Марфы, и я с размаха хлестнул плёткой по постели. Просто так, для одной лишь остротки, для одного лишь психологического напряжения. Потом вырвал стопку у Марфы и выпил залпом. Закусил я на сей раз огурцом, нарочно сделал так, будто даже в насмешку над самим собой. Я нередко позволяю себе насмехаться над собой, оттого моё значение нисколько не умаляется.

Марфа только успела пригубить самогон, допить ей я не дал, но, схватив за пухлое плечо, снова бросил её на пол. Имя нам – звери, имена наших мгновений – лихорадка, ликование; для души моей важны, жизненно важны витамины безобразий. Я возвышался над Марфой сзади и, всё ещё хрустя огурцом, расстегнул замок на её юбке, потом снова махнул плеткой и попал женщине по талии и по лопатке. Она же, вся извернувшись, сдёрнула с себя свой проклятый лифчик.

– Самка! – крикнул я. – Ты моя покорная самка!

– Я твоя покорная самка, мой господин! – крикнула и Марфа.

Оба мы уж заходились в самозабвении. Я думал раздеваться самому и срывать с этой женщины тряпку за тряпкой... Впрочем, это была ещё не кульминация...

Но тут вдруг произошло это – невозможное, немыслимое! Такое не могло бы присниться во сне. Распахнулась вдруг дверь, и в комнату, что-то крича и размахивая руками, вбежали два дядьки, моложавых, плотных, низкорослых, мускулистых.

– Что это? Кто? – вскричал я.

Я отскочил от Марфы, злобно ощерился, поднял руку с плёткой, защищаясь.

– Не-ет! – простонала Марфа. – Не сейчас! Только не сейчас! Вы же обещали!

Кто это? – крикнул ещё раз я.

Марфа вскочила, дядьки бросились на меня, я махнул плёткой, но один из дядек, отвлекши меня обманым движением, вдруг из всей силы ударил своею чугуною головою мне в живот. Я задохнулся и полетел на постель, тут же вскочил, но эти двое накинудись на меня и вырвали плётку.

Чёрт возьми! Я так долго искал это, я так долго и мучительно всё это выстраивал, и вот вдруг всё рухнуло в какое-то мгновение. Почему же это, почему так? Истина – не конечная станция всякого нашего взыскующего движения, она и есть такое движение. Истина – разгоны и торможения, истина – жалкие полустанки, которые проскакиваешь с налёта, не замечая оных, истина – и стук колёс, и сами эти колёса, истина – и заторы в пути, и их (заторов) благополучное преодоление!..

Раскрасневшиеся злые дядьки бросили меня на пол и навалились сверху, удерживая мои руки.

– Ах ты ж паскудник! – прикрикивали они. – Ишь надумал!.. Что вытворяет тут!..

Они меня не били, только держали, или, может, и ударили пару раз, но не больно, наверное, только для остротки. Видно было, что они и сами не знают, что им теперь делать.

– Марфа! – с укором сказал я. – Зачем ты так?

Она выглядела смущённой.

– Они меня заставили, – лепетала Марфа. – Они угрожали. Я не соглашалась, но они всё равно заставили...

– Ведь я же... – сказал я. Но не договорил. Дядьки снова стали мять и ломать меня.

– Петенька!.. Павлик!.. – кричала Марфа, хватая моих обидчиков за руки и стараясь их оттащить от меня.

– Прикройся, сестра! – неприязненно крикнул старший из дядек. – А то, вишь тут, перед тремя мужиками голые сиськи раззявила!..

Марфа не стала искать лифчик, тот был на полу, прямо подо мной, но накинула свою мятую блузку и трясущимися пальцами быстро застегнула пуговицы.

– Ну, так что нам с тобой делать? – спросил меня брат Марфы, тот, что был старше.

– Петька! – отчаянно крикнула женщина.

Но братья только отмахнулись от Марфы.

– Как звать-то тебя, паскудник? – спросил меня младший.

– Фридрих! Он – Фридрих! – вскричала Марфа. – А если по-нашему, так – Федя.

– Немец, что ли? – удивился Пётр. – А с виду, вроде, наша, русская харя.

– Где же это ты немца-то подцепила? – удивился Павлик.

Я посмотрел на него с отвращением. Часто ли сами они на себя смотрят хладнокровным и непредвзятым глазом? Видимо, нет. Быть может, что и никогда.

– Зовите меня просто: Бог! – глухо сказал я.

Дядьки коротко хохотнули. Я не протестовал, я лишь молчал.

Души этих людей всегда будут обогреваться торфом или каменным углём. Им неведомы иные источники тепла или смысла.

– Ну-ка поддержи его, брат! – сказал старший. – Я выпить хочу.

Павел навалился на меня, я, впрочем, не очень-то сопротивлялся. Другого ничего от человека я никогда и не ждал, так что стоит ли удивляться теперь моему нынешнему унижению? Нет, ему не стоит удивляться! Всё, что и могут принести мне мир и насельник его – человек, так только унижение, одно унижение, и ничего больше!.. Праведные пройдохи! Фальшивые проповедники, оголтелый ваш дух укрепляют лишь ложные толкования! Когда вы все изойдете в бесцельности, – ждите! Я приду к вам на подмогу, сияющий, великолепный, возродившийся, опомнившийся!.. Быть может, приду!.. Если бы любовь Бога к человеку не была домислом, я увидел бы в ней самый кощунственный из инцестов. Я – временщик в этом мире-временщике, я – мертвец в этом мире мёртвых, мире безнадежных, безрассудных и безжалостных.

Петр налил себе самогона в мою стопку и выпил с ожесточением. Потом он засунул в рот капусты и ещё огурец и всё это жевал, шумно дыша и стоя надо мною. Капуста из его рта падала мне на грудь. Младшему тоже, должно быть, не терпелось выпить.

– Ну-ка, сестра, – сказал он, – налей и мне тоже.

Марфа налила самогона для брата, насадила огурец на вилку, самый лучший, и поднесла угощение Павлу.

– Павлик, отпусти его, – попросила женщина.

– Можешь отпустить, Павлуша, – хохотнул старший. – Никуда не денется!

– Смотри, сволочь, – сказал мой мучитель, ослабляя хватку, – с огнём играешь.

Я поднялся с пола, отряхиваясь.

– Феденька, налить тебе тоже? – ласково спросила Марфа, но тут же поправилась, и тон её при этом переменялся – от бабьей гнусности до здорового человеческого подобострастия:

– Налить тебе, господин?

– Господин! – ухмыльнулся Петр. – Я вот вчера заявление на отгул на работе писал: господину, мол, начальнику цеха такому-то от господина старшего бригадира сякого-то... Прошу, мол, ну и так далее... Все мы теперь господа стали!..

Я лишь молчал, отвернувшись. Все предначертания от мира для человека сродни шантажу, даже самые милосердные, даже самые необязательные, знал я.

Братья шумно выпивали и закусывали, Марфа тоже потихоньку опрокинула стопочку.

– Ну, так что? – молвил Павлуша, насытившись. – Пороть его, что ли? А, Петь?

– Нет, – тяжело возразил Петр. – Он паскудничал прилюдно, у нас на глазах, можно сказать, а мы его должны втихомолку?.. Да он того только и добивается, да ты взгляни, взгляни! – говорил он брату.

– А чего мне глядеть-то на эту сволочь?! Он думал напаскудничает себе, и все шито-крыто будет, – отмахнулся Павел. – Да не тут-то было!..

– Надо его народу показать, – заключил Пётр, наливая себе ещё, – рассказать, какая он мразь, и вот тогда пусть народ посмотрит на него и решит, что с ним делать.

– Верно, – согласился младший.

– Вы что, мальчики, – испугалась Марфа, – хотите его на улицу вести? Не надо, уж лучше здесь.

– А ты, сестра, не вмешивайся, – нахмурился Пётр, – и так уж делов наделала по самую крышу. Родителей только наших покойных опозорила.

– Ты, Петька, не вали всё в одну кучу!.. – крикнула Марфа. – Родители здесь ни при чём.

– Давай собирайся! – дёрнул меня за одежду Пётр.

– Надо же, – удивился Павлик, – пришёл тут паскудничать и ещё свои чечётки выплясывает. Совсем без совести люди сделались.

– Где ты, сестра, только откопала такого? – поинтересовался Пётр.

– Не твое дело, – огрызнулась Марфа. – Туда же пойдешь – тебе такого не достанется.

Она накинула на плечи косынку и первой двинулась к выходу.

– Эй ты, – крикнул Пётр сестре, – не ходи никуда! Мы сами справимся!..

– Да отстань ты! – махнула рукою Марфа.

Вышли мы на лестницу едва ли даже не миролюбиво. Подошвы моих туфель стучали по ступеням бестактно и несвоевременно, но с этим ничего нельзя было поделать. Я шёл впереди, сразу за мною плелась женщина, а сзади гроыхали тяжёлыми ботинками Марфины братья. Внизу я всё же не уберёгся и с размаха треснулся о притолоку, взвыл от боли и зажал темя рукою. Марфа ойкнула и потянулась ко мне, будто желая разделить со мной боль. Но я отвел её руку.

– Значит, ждёшь прихода мужчины – посади под дверь братьев? – шёпотом укорил её я. Марфа выглядела смущённой.

– Ах нет, – сказала она. – Просто так получилось. Я здесь не виновата.

Я ничего не ответил ей.

На улице уж темнело, ещё немного, должно быть, и станут зажигать латерны. Над головою моею больною теснились облака, рыхлые и тяжёлые, будто брынза. Редкие прохожие сновали по сей гнусной улочке, которая так и не признала меня, зато поспешила исторгнуть. Мы остановились.

– Нет, – сказал Павлик, оглядевшись, – здесь нет народа. Надо на проспект идти.

– Айда на проспект, – согласился Пётр.

– Да, – сказала Марфа. – Там народу больше.

Страх высоты – один из важнейших компонентов нашего восхищения высоким; мне же этого более было никогда не ощутить, ибо я презирал теперь и страх высоты и даже само высокое. Мне следовало бы теперь изучать презрение и всё презираемое. Мне следовало бы поставить презрение на место высокого, на место совершенного и беспредельного. Мне нужно было

отдаться презрению с отчаянной весёлостью танца, но мог ли я сделать это теперь, когда мне мешали, когда мне препятствовали?!

Я прекратил зажимать рукою темя, и кровь стала стекать мне на лоб, хотя и совсем немного, небольшою струйкой. Если уж бессмертия для вас так недостижимы, жалкие человеки, учитесь хотя бы управлять реинкарнациями. Умейте же во всякий день и час содержать в сухости порох своей причудливости, умейте вместе с тем без остатка взрываться во всякую минуту, которую обычно зовут вдохновенною, тшчитесь имя, смысл и значение свои распылить по миру, по каждому замысловатому закоулку того, чтобы задохнулись, захлебнулись и мир и закоулки его их новою красотою, новым содержанием, зашлись в фантастическом содрогании, забились в падучей болезни небывалой неистовости, нового чудотворства.

На проспекте было народа поболее, но тоже вовсе не толпы. Мне это было всё равно, братья же, вроде, оказались разочарованными. Однако ж ничего не поделаешь – приходилось довольствоваться имеющимся.

– Здесь, – сказал Павлик.

– Говори ты, брат, – предложил Пётр. – У тебя-то, вроде, язычок побойчее.

Тот приосанился. Задумался на минуту.

– Люди! – вдруг крикнул он. – Люди!.. Вот стоим мы перед вами. Мы не беженцы, не попрошайки, нам не надо ваших денег, нам надо только вашей справедливости.

Кто-то уж остановился подле нас, например, растрёпанная старуха с мальчишкой в школьной форме, должно быть, её внуком, другие же только ещё подходили. Собиралась даже небольшая толпа.

– Вот я – Павел, – ткнул себя кулаком в грудь оратор, – это вот – брат мой Пётр, это – распутная сестра Марфа. А это вот – гнусный паскудник, который говорит, чтобы его называли Богом, или хотя бы Фридрихом, а на самом деле, он – обыкновенный наш Федька.

– Как он велит себя называть? – переспросила старуха.

– Да-да, мамаша, вы не ослышались, – подтвердил Павлик. – Вот вас как, например, зовут?

– Меня-то? – ещё раз переспросила старуха. – Фамилия моя – Ленская. И хоть у меня и имя есть, но все так и называют: бабушка Ленская. А это внучек мой – Славик, но он – Чемоданов.

– Вот! – торжествующе сказал Павлик. – Вы – бабушка Ленская, он – Славик Чемоданов, а этот... этот говорит, чтобы его называли Богом.

Марфа стояла вся раскрасневшаяся, потная, она лишь обмахивалась руками.

– Ну, хватит здесь, Павлушка, всякую чушь городить! – недовольно сказала она.

– Да-да, – подтвердил Пётр, – ты, главное, про паскудства его давай. Чего воду в ступе толочь-то?

– Да я про паскудства и говорю! – заорал Павлик. – Этот вот паскудник пришёл сегодня к нашей распутной сестре, и знаете, что он с собою принёс? А? Нормальные-то мужики цветы приносят или подарочки какие!.. А этот... Этот... Вот что с собою принёс!.. – крикнул ещё Павлик и потряс над головою моей плеткой.

– Пошляк какой! – возмутилась старуха Ленская. – Сейчас столько пошляков стало! Ужас просто какой-то!..

– Это не пошляк! – крикнул Пётр. – Это мразь, это выродок! А сестра... сестра...

– А я знаю, – сказал внучек Чемоданов. – Это называется садо-мазо.

– Замолчи! – аж вся затряслась старуха Ленская. – Ты ещё маленький. Откуда ты можешь знать?! Тебе ещё нельзя знать про глупости.

– Ну да, конечно! – крикнул внук. – Я уже не маленький, и я знаю. Я в кино видел.

– И кино тебе такие смотреть нельзя! Всё сегодня твоим родителям расскажу.

– Старая ябедница! – прошипел внук.

Ленская отвесила внуку злую затрещину, тот не стерпел и ответил ей тем же, а потом, схватив её за одежду, несколько раз потряхнул старую женщину.

Тут вмешался ещё какой-то плюгавенький мужичонка из толпы.

– Если имеются какие-то законные претензии, – сказал он, – следует подавать исковое заявление в суд в установленном порядке. Заплатить пошлину, приложить справки и показания свидетелей... Я знаю, у меня племянница в суде работает. Гражданочка, – обратился он к Марфе, – у вас есть какие-то законные претензии?

– Да нет у меня никаких претензий! – отмахнулась Марфа.

– Какие там претензии?! – крикнул кто-то. – Обычное дело: если сучка не захочет, и кобель не вскочит.

– Вы тут, смотрите, поосторожнее про сучку!.. Сестра все-таки!.. – угрожающе сказал Павлик.

– Тогда ничего не выйдет, – довольно сказал мужичонка.

– Да что вы все про свои пошлины?! – заорал вдруг Пётр. – Не станет он платить никакие пошлины!

– Пошлины платит истец, – поправил Петра плюгавенький.

– Дурак какой-то!.. – крикнул Пётр.

– Ну, знаете! – обиделся мужичонка.

– Да он вообще никого не уважает – ни вас, ни меня, ни власть, ни людей!..

– Ни кесаря... – зачем-то вставила старуха Ленская. Кажется, все на свете оперы смешались в глупой её голове.

– Ни кесаря, – подхватил Пётр, – ни Марфу, никого! Он только себя уважает.

– Так? – встряхнул меня Павлик.

– Что? – спросил я.

– Никого? – сказал тот. – Никого не уважаешь?

– И кесаря тоже? – снова встряла старуха.

– Ну?! – замахнулся Пётр.

– Кесарю нынче не обязательно даже отдавать кесарева, совершенно не обязательно, – тихо сказал я. – Да он его, впрочем, и не требует, он его сам тибрит.

– Вот! – вскричал Павлик. – Слышали?

– Не уважаешь, значит? – спросил Пётр. – Презираешь? И меня презираешь? И Марфу презираешь? И бабушку вот презираешь? И вообще всех презираешь? Так, что ли?

– Да, – хмуро сказал я. – Я презирал человека, но от кого ещё, если не от меня, ожидать ему его блистательных ренессансов и реабилитаций?!

– Ясно вам?! – торжествующе потёр руки Павлик.

Мог ли я ныне успеть утвердить вездесущее, но неопознаваемое? Разумеется, не мог. Минуты, мгновения сплывали для меня в одно, сжались в сверхчеловеческий сгусток... Быть человеком – значит лишь оскорбить себя самого, но что же делать, что ещё выбирать, когда нет, вовсе нет на свете ни единого достойного звания?! Христианин для меня – синоним мерзавца, иудей помечен Богом в свои ручные шельмы, в этом-то и есть его пресловутая избранность. Прочие же... Хотя, конечно, что прочие?.. Разве есть они вообще – прочие?! Когда я вблизи человека, я чувствую себя надыхавшимся угарным газом.

– А по-моему, – тихо сказала вдруг какая-то женщина, по виду старая дева, – по-моему, таких просто убивать надо. Убивать, – теперь уже громче сказала она. – Он же все чувства грязнит и поганит. Если ты ждёшь чувства, большого, светлого, возвышающего, а тут появляется такой вот со своим цинизмом, со своими насмешками, со своим безразличием и поганит, поганит... Таких убивать, убивать, убивать надо!.. – кричала она, и слёзы вдруг брызнули из глаз её.

– Вот! – заорал Пётр. – Слышали!.. Вот истина глаголет устами этой доброй женщины! Женщина, не плачьте...

– Надо, чтобы народ осудил этого!.. – воскликнул и Павлик. – Единодушно, единогласно!.. В одном, так сказать, порыве...

– Нельзя же паскудства терпеть до бесконечности! – прогудел ещё Пётр.

– Нет, а я не согласен, – загудел плюгавенький законник. – Убивать просто так никому право не дано. Что это будет, если все станут убивать друг друга, когда им что-то там не нравится?! Это уж, пожалуй, похлеще кесаря выйдет. Вы и так уж ему, я вижу, телесные повреждения нанесли.

– Это не мы, – гаркнул Пётр. – Это он сам об косяк башкой треснулся.

– Ишь, умник какой отыскался! – презрительно бросила старуха Ленская.

– Не дурнее некоторых, – огрызнулся плюгавенький.

Старухин внучек хохотал идиотским смехом. Слушая этот смех, хохотнула и Марфа. Плечи старой девы сотрясались в рыданиях.

Более я уж не мог этого наблюдать. Победы или поражения – это всегда вопросы статистики, с последней же у меня всегда были отношения непростые.

– Довольно! – глухо сказал я. И зажал голову руками, стиснул её обеими руками, до боли, до испарины, до искр в глазах. Кому, кроме меня, ещё претендовать на вакансии мной же самым умерщвлённых?!

– Стой! – крикнули мне. – Куда?!

Но я уж не слушал. Кто из них знает смятенное? Кто из них позволит ему поселиться в душе своей хотя бы на миг? Кто позволит взбудоражить её этим самым смятенным, взволновать, возмутить или обидеть? Кто решится своё смятенное, беспорядочное поставить во главу своей причудливости, принести в пищу своему созидающему огню? Да и ведомо ли тебе причудливое, ведомо ли тебе творящее, человек? Ты весь ум свой, весь талант свой, всё природное добродушие своё, всю местечковую свою отзывчивость, человек, заклеил своими никчёмными акцизными марками. Сзади меня хлестнули плёткою, напоследок, от бессилия, я шагнул на проезжую часть, взвизгнули тормоза, какой-то автомобиль, должно быть, какое-то внутреннее сгорание, но я их не видел. Сделал ещё шаг, потом ещё и ещё. Колокол гремел в груди моей, сокрушая её изнутри. Уж если даже я – Я! – отказываюсь от всех вождельных надмирных вакансий, так значит уж точно всякому вашему святому месту быть пусту!..

Всякая мысль моя – дело всех моих нервов.

– Феденька! – крикнул кто-то, то ли Марфа, то ли старуха Ленская, то ли обе они разом, единым своим безрассудным гласом.

Кажется, он уже летел на меня, на всём своем ходу, со всею своею стремительностью. Я чувствовал его, я его ощущал. Я обернулся.

И вдруг всё стихло – крики, смешки, сожаления, странности, кривотолки, сослагательные наклонения, страхи перед чистым листом, восторги и метафизики... И тогда я увидел его. Он быстро приближался ко мне. Ярость и ужас были на лице вагоновожатой. Гремел звонок, вороны испуганно метнулись между домами, небо будто приблизилось ко мне на расстояние волоса, заскрежетало железо, посыпались искры, и он остановился подле меня, и даже слегка толкнул меня своею недвусмысленной грудью. Уверен, что не нарочно.

Я застыл, я задохнулся. Я развёл руки в стороны и обнял его. Обнял как мог. И слёзы катились по моим щекам.

– Трамвай, – сказал я. – Люблю тебя, трамвай, – сказал я. – До замирания сердца люблю. Душу твою железную люблю, – сказал я. – Ибо человечью любить не могу, – сказал я. – Ты уж изнемог душою своею железной, – сказал я, – вот и я изнемог тоже. Гонят тебя и преследуют, – сказал я, – и меня вот тоже гонят и преследуют, брат мой трамвай, – сказал я. – Оба мы с тобою – несчастные странники, – сказал я. – Верь мне, брат мой, – сказал я. – И я отведу тебя

туда, где ни тебя, ни меня не будут гнать и преследовать, брат мой, – сказал я, – где не будут сомневаться ни в твоём первородстве, ни в моём величии, ни в моём достоинстве, чёрт бы их побрал, – сказал я. – Пойдём, брат, – сказал я.

Я повернулся, и мы пошли. Я шёл впереди, мерно постукивая своими деревянными подошвами, и он за мною, тихий, красивый, укрощённый, величественный, постепенно набирающий ход. Оба мы улыбались. Оба мы были счастливы.

Зеркало

В последнее время, смотрясь в зеркало, в то, что висит у меня в прихожей, я перестал видеть своё собственное отражение, из чего делаю вывод, что я уже умер.

Но вот выйдет ли из этой истории связная, не захлебнусь ли своими беспорядочными грёзами? Как знать...

Или всё-таки ошибка, самообман, наваждение?

Возможно, я был ещё жив, но уж, несомненно, полагал себя каким-то Улиссом неподвижности или какою-то сарделькою для собак.

Вперёд же, смелее, меньше сомнений и недоговорённостей!.. Избегая, однако, минных полей монотонности и ловушек большого стиля. Разве же ты не знал всегда героизма безрасстройства, разве не изобретал его для себя?!

Вот снова вижу стены, оклеенные тёмными чешуйчатыми обоями, коридор, ведущий в кухню, галогеновую лампу под матовым колпаком, сумрак дверного проёма комнаты в стороне, но, чёрт побери! – не вижу себя, тогда как уж себя-то я должен был бы видеть в первую очередь.

Я долго ещё сохранял хладнокровие, жабы или гадючье. Кто знает, каким оно было у меня? Поначалу я даже пытался выдвигать разные версии сего феномена, например, оптическую или психопатологическую, но постепенно сам отвергал их одну за другой.

Ничего не поделаешь, я многое передумал, многое перепробовал, но загадка не разрешилась. Причём, с тенью моей было как раз всё в порядке, она оставалась на положенном ей месте, но вот отражение, отражение!.. Чего там греха таить: оно исчезло напрочь!..

Хуже того: мне долго ещё удавалось видеть моё нескладное отражение во многих других зеркалах, в чужих гостиных, в общественных туалетах, даже в витринах магазинов я мельком ещё различал себя, дробящегося и искажённого. И лишь одно это зеркало причиняло мне столько страданий и недоумений. Да-да, а ведь глаз мой всегда был злым и зажиточным. Взгляд мой был болезненным и непоседливым. Впрочем, что – я? Что – все мои болезни? Ведь даже сам мир есть сумма патологий, рядящихся в одежды обыденности!..

И чем более я вглядывался в сию страшную амальгаму, тем более разума перетекало из меня в неё. Я насыщал её своими смыслами, своими фантазиями и наваждениями.

Вскоре же начал исчезать и во всех прочих зеркалах, хотя и не сразу, не вдруг, я двоился, троился, иногда пропадала чёткость и точность очертаний, но всё равно, не стоило себя обманывать: дело шло к полному исчезновению.

Весьма маргинальное занятие – выдумывание всевозможных предположений, сочинение разнообразных версий. Впрочем, не следует забывать, что и жизнь – ещё более маргинальное занятие.

Это моё зеркало, разумеется, стоило раскокать, ничего большего оно не заслуживало, я уж несколько раз примерялся к нему с тяжёлой киянкой на короткой ручке, потом ещё с фунтовой гирькой, но мания естествоиспытательства в конце концов взяла во мне верх. Впрочем, возможно, мне было просто жаль этой странной вещи. Меня всегда привлекали разнообразные кунштюки.

Много раз на дню, стоя перед зеркалом, я светил в него карманным фонарём. Свет я видел, фонарь уже почти нет, себя же не видел вовсе. Ещё хуже обстояло дело со свечой. Огонёк её чётко отражался в зеркале, но руки своей, державшей свечу, я уже не видел. Зато начинали искажаться очертания коридора, кусочка кухни, который я мог ещё различить, а также комнаты, где в это время не горел свет.

Коридор, ведущий в кухню, у меня прямой и короткий, но только не теперь, но только не отражённый в этом проклятом зеркале. Он как-то странно стал изгибаться, сужаться, в нём появилось что-то двусмысленное, пугающее, загадочное...

Мурашкам, бегающим по моей спине, я был, кажется, даже рад.

Кухню теперь я уже почти не мог разглядеть, там было темно, и она как будто начиналась за одним или несколькими поворотами сего странного коридора.

И вот вдруг я как-то увидел человека, выглянувшего из кухни, но задержавшегося на минуту в коридоре.

– Кто? – крикнул я, мгновенно покрывшись холодным потом. Я быстро обернулся. Сзади никого не было. – Кто там? – крикнул ещё я и бросился в кухню.

Разумеется, там никого не было.

Я стоял босиком на зябком полу и медленно приходил в себя. Шутки уже заканчивались. Пол у меня всегда такой, и я специально хожу по нему босиком, это отрезвляет мою мысль, это подстёгивает моё тело. Любить же своё тело я не умею, не хочу, да и другим делать этого не советую. Впрочем, я так же себе не советую и другим не советовать что бы то ни было. Всё: я окончательно смешался и запутался.

В тот день не пошёл на работу; сами подумайте, что там делать мне, умершему?! Или даже и живому, но неотражаемому? Работал я прежде в газете, довольно известной, но, даже если бы она теперь сгорела или, положим, пострадала от землетрясения, я бы не сильно расстроился. Впрочем, разве с газетой могло случиться такое? С человеком – да, со зданием – да, но газета всегда вынырнет, выплывет, выберется сухою из воды, когда вокруг все будут мокрыми и ничтожными, её же судьба милует, ей же сам чёрт благоволит и покровительствует, должно быть.

Я далёк от предположения, что и вы все мертвы тоже. Может, это и так, но меня совершенно не касается – разбирайтесь со своими делами самостоятельно. Мы слишком далеки от прародителей своих – зверей, но уж груза-то цивилизованности нам пока не вынести никак, лучше даже и не стараться. У вас лишь тяжелеют веки, свинцом наливаются пальцы, вы спокойны и расслаблены, вас ничто не беспокоит...

Беда же была ещё в том, что мозг мой молчал. Иногда хотелось исхлестать его плеткой, чтобы тот, испугавшись или устыдившись, произвёл бы пускай даже не смысл, но хоть жалкую его частицу, хоть даже *обсмысл* какой-нибудь, и того было бы довольно.

Мозг мой нередко выступал первопроходцем в жанре отпетых предательств и безобразий.

Человек этот ещё появлялся, лицо его было в родинках-горошинах, он был сед, скуласт, и лицо мне иногда казалось угрюмым, хотя лица я толком никогда не мог разглядеть. Ему следовало дать имя, следовало вызнать его биографию, не мог же он не иметь никакой вовсе биографии, не правда ли? Бывают ли люди без биографий, бывают ли двуногие без историй?

Почему-то он мне вообразился Игнатием. Это было ничуть не лучше и не хуже всего прочего. Даже если это было и не так, даже если я всего лишь предавался своим домыслам...

– Игнатий! – как-то крикнул ему я, когда он вдруг промелькнул в моём зеркале. Тот вздрогнул и поспешил скрыться от меня.

Быть может, он сам меня боялся? Быть может, он не знал, чего от меня ожидать? Или он боялся впасть в какую-то зависимость от меня, или он тоже был несвободен?

Дней своих я толком не помнил, но было несколько ночей, в которые я ощущал лишь бетонную безнадежность и промозглую горечь гортани.

Я хотел вызвать его на разговор, нет, не на откровенность, на это уж я не рассчитывал, её, пожалуй, я даже и не хотел, но всего лишь на разговор. Я таился в стороне от зеркала, прислушиваясь, потом неожиданно на цыпочках подскакивал к зеркалу и взглядывал в него. Иногда

я замечал там кое-кого и кроме Игнатия. Была там какая-то женщина, девушка. Существенно моложе Игнатия – то ли юная его жена, то ли дочь, рождённая не слишком рано. Однажды я увидел пасущегося на лугу быка. Посреди трёх валунов, похожих на постаменты.

Не следует думать, будто мне всё доставалось легко, будто мне всё открывалось само собой. Я прежде долго всматривался, вслушивался, до судорог зрачков всматривался, до звона в ушах вслушивался, до оскомины рта, до холода подмышек, до оцепенения мозжечка вдумывался.

Во мне, возможно, было бы более человека, не будь во мне столько саркастической лихорадки, той, что сжигала меня изнутри.

Снесите же, снесите же головы любимым своим быкам!.. И никаких – слышите? – никаких сожалений!

У вас останавливается внутренний монолог, цепенеют пальцы, но такое состояние вам даже нравится...

Во вторник мне позвонили из газеты, я притворился, будто ошиблись номером, но на другом конце провода слишком хорошо знали мой голос и потому не поверили. Плевать! Обойдусь! А вы лучше посмотрите на себя в зеркало, по-прежнему ли вы видите себя? А? Ничего у вас там не переменилось?

Все слова должны сбредаться на языке так, чтобы тотчас же производить дурман и замешательство, соединяться в обморочные сплетения, сходиться на битвы с собственным обозначаемым... Продолжить ли начертанное? Стараться ли спутать времени безжалостную паутину, скомкать её, выбросить из своих липнущих пальцев? Даже взгляд наш бывает порой настолько ленив, что достигает лишь середины своего возможного. Вот и мой взгляд тоже – не достигал дна, не достигал предела, но – лишь середины. Даже не золотой.

А теперь вы мгновенно все засыпаете!.. Вы будто проваливаетесь в сон и спокойствие... Молчание!.. Тишина!..

Всё утро я был пророком грядущего языка, после же застыл на дальних подступах к моему безжалостному стеклу и лишь стал предаваться бежевым и бесцельным своим созерцаниям.

Как-то я повязал галстук и надел свой лучший костюм (тогда у меня ещё были костюмы, лучшие и худшие). Я подошёл к зеркалу и самым приятным из всех моих голосов принялся взывать (надо же было как-то налаживать отношения и вместе с тем не испугать никого):

– Женщина, женщина! Милая дама! Девица! Красавица! Сударыня!.. Послушайте же! Отзовитесь!

Девушки я в этот раз не увидел, лишь на мгновение промелькнул сам Игнатий, и лицо его показалось мне печальным.

Девушку эту я потом видел ещё и даже не одну. Женщин там было две, связывали их какие-то весьма причудливые отношения. Всё здесь делалось для видимости, они даже жили для видимости. К Игнатию и его женщинам приходили какие-то люди и говорили о пустяках, но я понимал, что за пустяками таилось что-то серьёзное, какое-то преступление, может быть, даже шпионаж.

Да-да, точно: все они были шпионами и шпионками. Я теперь понял это. И я был единственным свидетелем их тайных сборищ. Оказывается, можно многое увидеть в зеркале, если ты собою не заслоняешь в нём свой собственный обзор.

Было ли это опасно для меня? На всякий случай, мне следовало прикинуться сочувствующим и уж обязательно совершенно безвредным для них. Наверное, даже сумасшедшим. Последнее я умел делать особенно хорошо.

Быть может, я лишь напрасно так много заискивал пред противоположным полом.

То, что они временами убирались из моей квартиры и шпионили где-то на стороне, меня, разумеется, не беспокоило. Но вот то, что их шпионства продолжались и в моём обиталище...

Она была невысокого роста, эта девушка, эта первая женщина Игнатия, очень худощавая и черноволосая, сидела на кухне и жадно объедала апельсины, разрезанные на четвертинки. Кроме того она читала какую-то книгу в духе Бальзака, может быть, даже самого Бальзака, я бы тому не удивился.

Всё это было чрезвычайно странно для шпионки.

Я стоял пред зеркалом и бормотал нечто бессвязное. Бормотания мои сродни божественным бормотаниям, во всяком случае, сближаются с теми глухими их обертонами в точках угасания и надмирными фонетическими окрасками. Уж я-то знал во всём этом толк.

В такие минуты никого из них невозможно было разглядеть в зеркале, они будто нарочно разбегались или прятались от меня.

Задумался вдруг: почему не бывает погон на плечах у гражданских? Я выбрал бы себе погоны с каким-нибудь отчаянным содержанием.

Временами я бежал от этого зеркала, я метался по всей квартире, но, где бы я ни был, я всё равно знал, что там, глубоко, за слоем этой лживой амальгамы сейчас протекает какая-то тайная беспорядочная жизнь. Иногда я старался забыть о них обо всех. Сделать вид, будто я один и никого нет ни рядом, ни вокруг. И тогда я слышал лишь их голоса, их покашливания, шаги, копошение, все те звуки, которые производит человек, даже не желая того. Всё это я слышал. Ещё я перестал жить жизнью духа, но стал существовать существованием травы, может быть, клевера или одуванчика. Я лежал на диване и не могу даже сказать, чтобы размышлял. Нет, я просто лежал, и всё.

Быть может, пропажа, исчезновение есть тайная цель моя? Возможно, *миссия бесследности* исподволь утвердилась в крови моей и в нервах? Мир давно решил меня сбавить в неизвестность, но и всё равно я не ожидал от него столь подлых ухищрений.

А всё же – сколько бы ни было будущего – всё оно без остатка раньше или позднее перетечёт, пересыплется в прошлое, и это уж навсегда. А полагаете, у меня было прошлое, то есть то, к чему можно привязаться смыслом своим или памятью? (И что же, мне всегда искать себе разных смыслов для триумфов и для затрапезности?) Нет, я всегда называл это *временем утраты укоренённости*. И я был прав, у меня происходило именно так.

Однажды ночью она ко мне пришла. Да-да, та самая девушка!.. Я очнулся от тяжёлой дремоты – она сидела на краю моей постели.

– Что?! – вздрогнул я.

– Тссс!.. – приложила она палец к губам.

– Могут услышать? – пробормотал я. Сердце моё было испуганною птицею. Которой, быть может, суждено было погибнуть у меня на глазах.

– Никого нет, – возразила она.

Я протянул к ней руку. Она отстранилась. Я сел рядом с нею. Мы молчали.

– Вы шпионы? – наконец, спросил я.

– Это очень трудно объяснить, – ответила девушка.

– Зачем же? – настаивал я.

– Не спрашивай, – сказала она.

Я не спрашивал, я снова протянул к ней руку. На сей раз она не стала отстраняться...

Вы пробовали когда-нибудь жить с женщиной без плоти, с женщиной, которая – одно лишь отражение, вы знаете, что это такое? Сколько восторга, самозабвения в том, но сколько же в этом разочарования и неутолённых ожиданий! Сколько в том хмельного пульса, сладкого воздуха лёгких, но сколько и боли сердечной, неизбывной, безбрежной!..

Наташа (так её звали) приходила ко мне ещё несколько раз. При всякой встрече у нас образовывалось что-то новое, удивительное, трепетное, но надыхаться этим было невозможно.

В ней всегда была какая-то журавлиная настороженность.

Беги же от того, что любишь, к чему привязан, к чему стремишься, не приумножай в мире запасов его бреда! Жизнь моя – не череда дней, не сцепление обстоятельств, но лишь – забытая миссия и покинутый пост. Следовало бы изобрести себе нового бога асимметрии и нерассудительности и в дебрях обыденности лишь приносить ему первины бездушия своего.

В общем, я ведь никогда ни в чём не раскаивался – ни в содеянном, ни в задуманном. Единственное было лишь во мне сожаление – от того, что никогда не мог сам собою производить в мире ультразвука или ультрафиолета. Хотя тяга к запредельным проявлениям, пожалуй, присутствовала всегда.

Свет – главный хранитель скольжения. Никто не способен скользить так, как скользит свет (я пытался – не получается), но всякие попытки такового – лишь пародии.

В коридоре, вблизи плинтуса у меня и раньше росла трава, сейчас же она разрослась по всему полу. Ежа, тимopheевка, моложавые лопухи, где-то даже пробивался осот, но осот я старался выдирать, чтобы не исколоть об него ступни. Мы с Наташей бродили в обнимку босиком по этой траве. Говорили ли мы с ней о чём-то при этом? Не могу припомнить точно.

Возможно, во мне наблюдалось какое-то достоинство, но, впрочем, невысокого сорта, как будто я был овощем из семейства паслёновых.

Звериной своей стилистикой я положил себе приукрашивать всякий миг постылого своего бытия.

Теперь вы спите спокойно, крепко, глубоко!.. Вас ничто не беспокоит и не тревожит.

Полновесность юности давно уже в прошлом, ныне же остались лишь ярость и оскудение. Наташа же была моим испытанием.

– Что у нас будет с тобой дальше? – как-то спросил я Наташу.

– Не надо, – шепнула она. – Моё будущее – это твоё прошлое, – произнесла она ещё непонятную фразу.

Меня лихорадило. Я вдруг угадал, отчего они так прятались от меня. Они никак не хотели раскрыть предо мною свой тайный статус кадавров. И ещё они предпочитали оставаться загадками для одиозного моего созерцания.

Тяжелее всего было ждать Наташу, когда она уходила и долго не возвращалась. Это было совсем не то, что ждать живую женщину, весомую, телесную, имеющую характер, причуды, привычки, в явственной, осязаемой форме. Но Наташа со временем тоже делалась всё более осязаемой, что мне, разумеется, нравилось. Меня это привлекало.

Я тогда готов был уж объявить войну всем вашим пресловутым культурам, я готов был ополчиться против всех ваших хваленых эстетик. Вам не обольстить меня более всеми вашими лживыми сухомятками духа. Я умел создавать неудачи, сотканные из одних блистательных фраз.

В мир лишь вцепиться своею мёртвою хваткою и трепать тот до изнеможения!.. Что может быть привлекательней? Что может быть выше?

Игнатий действительно был отцом Наташи, но он также был и её мужем. Трудно вообразить себе что-то более странное, противоестественное; такое чудовищное извращение ошеломляло. Но для них это было в порядке вещей. У них там все отцы живут с дочерьми, производят потомства, зачастую там один отец на целую цепь детей, внуков, правнуков и более отдалённых потомков. У меня это не укладывалось в голове.

Быть может, и сама Наташа тяготилась своим положением. Отсюда-то и наша странная связь...

Я же, несомненно, сделался жертвою иных свихнувшихся синтаксисов.

– Вы можете посчитать отражение какой-нибудь абстракцией, – бормотал ещё я, – между тем, это нечто, связанное с вашим другим я.

Зеркало! Проклятое моё стекло! Чёрт побери, это был инструмент палиндромов и обратно пропорциональных зависимостей. Прямые пропорциональные зависимости здесь пасовали. К тому же прямых зависимостей я вообще не любил. Если уж зависимость пропорциональная, так пусть будет хоть *косвенно* пропорциональная, а ещё лучше – *беспорядочно* пропорциональная... Да-да, так лучше!.. Зависимость со скачками, с рытвинами, с перехлёстами, с заусеницами...

Я мучался, я ревновал Наташу к другой её жизни, я не понимал этой жизни. Эта женщина не утоляла жажды, жажда была вечною. Когда Наташи не было, я дежурил перед зеркалом в прихожей, стараясь пусть не увидеть, но хоть услышать что-то. Я видел и слышал многое, но редко оно меня удовлетворяло. Все эти люди!.. Они лишь предавались своим оголтелым шпионажам в дебрях нашей унылой явственности. Зачем мы им нужны? Что хотят они выведать о нас? Что в нас такого важного, интересного, любопытного? Есть ли вообще оно? Мне следовало лишь с достоинством носить бремя обыденной моей сакраментальности.

Впрочем, во время своих дежурств я отнюдь не маячил перед зеркалом. Я прогуливался, прохаживался, проскальзывал мимо, стараясь уловить хоть какие-то обрывки. И я их улавливал. Я был будто бы создан специально для иных случайных мистических сообщений.

Но, кажется, я сам всё погубил своими собственными руками. Я понял это позднее.

Я слышал разговор двух шпионов, вернее – перешёптыванье (я слышал прежде немало их перешёптываний, но это показалось мне самым зловещим из всех).

– Завтра в одиннадцать, на Смоленском... – тихо сказал один.

– Остальные уже знают? – спросил другой.

– Да, – сказал первый. – Все знают, все дали согласие.

– Буду обязательно, – согласился второй.

Чёрт побери, в одиннадцать утра или вечера, вертелось у меня на языке. Утра или вечера? Я, может быть, даже решил бы спросить об этом у них, но оба шпиона внезапно исчезли.

Через несколько часов появилась Наташа. Она была бледнее обычного и более обычного бестелесна. Мы долго с нею не говорили ни о чём, но после...

– Что будет на Смоленском? – вдруг не выдержал я.

– Что? – вздрогнула девушка.

– Я слышал, – сказал я.

– Зачем? Зачем? – вскрикнула Наташа.

– Что здесь такого? – возразил я. – Если не хочешь, я ничего никому не скажу.

Кажется, какая-то понурая вечность играла со мною в одну из своих самых разнузданных игр, и мне теперь уж объявлен был шах. Впрочем, понятно, что дело этим не ограничится.

– Не-ет!.. – простонала Наташа. – Не то! Я теперь погибла!..

– Почему? – попытался я обнять её и утихомирить. Но она высвободилась и бросилась бежать.

Я метнулся за нею кунцею, но догнать не сумел: Наташа исчезла.

Весь день ходил я сам не свой. Я будто сделался великим мастером предчувствий, предощущений и даже предзнаменований. Я предвидел всё. Да, а ещё все наши оскомины и негодования – от вкуса разрешённых плодов, это я понимал точно. Мне звонили и стучали в дверь люди из газеты – заведующая и ещё кто-то с нею, я же не открывал.

– Дорогой мой, послушайте же! – приговаривала через дверь эта глупая женщина. – Отчего вы уединяетесь? Откройте же! Мы вам поможем! Вы нам нужны! Без вас вся наша аналитика остановилась!.. Без вас весь наш отдел опустошился!..

Не было более смысла таиться.

– Убирайтесь! – кричал я. – Я болен! У меня осложнённая инфекция! Мне не надо ничьей заботы!..

Они удалились, печальные.

– Вы уж там следите получше за своими отражениями! – напоследок прорычал я. – Лелейте их! Смазывайте их маслом! Проветривайте весною на воздухе! – кричал ещё я.

Горький сарказм звучал в моём последнем рыке. Зато в нём совершенно не звучало меланхолии. Я ставил под сомнение все их мистические аксиомы, они же ставили под сомнение меня. Но это ничего, я этого не боялся: орешек вроде меня миру не по зубам.

Они мне сегодня только помешали, они не могли мне помочь. Чем, собственно, они могли мне помочь?! Наташа, Наташа!..

Двуногие! Ортодоксы плоских своих рассудительностей!.. Прослушайте же внимательно мой изошрённый курс наглости и созерцания! Что, говорите, сердца ваши остыли, сердца ваши слепы? Не беда, мы поищем для вас иных причиндалов общительности. Не проблема, мы найдём для вас иные способы заполнения дней ваших и мгновений.

Но нет же, никто из них не соглашался принимать к обращению мои сарказмы и догадки по их нарицательной стоимости. Иногда я представлялся себе великой рекой, но, даже несмотря на все попытки, никак не мог представиться себе рекой малой. Малые реки – вы, все остальные, вы лишь бесцельно впадаете в меня, питая и подстёгивая мою кровь и мои нервы. Душа моя требовала самых сильных обезболивающих средств, но все предлагавшиеся препараты были из рода отвращения или пренебрежения.

Мир сам призвал меня и водрузил над собою своим главнейшим экзорцистом.

Вы спите!.. Хорошо ли вы спите?..

Едва я буду посвободней, я, быть может, начерчу ещё свою периодическую таблицу отчаяний.

И вдруг я услышал вскрик, вскрик и хрипение, девичьи вскрик и хрипение!.. Наташа!.. Это была она. Её, должно быть, душили, она погибала, я слышал, но не звала на помощь, лишь погибала, может, даже и не пытаясь сопротивляться.

Я бросился в прихожую.

– Прекратить! – кричал я, приплясывая перед зеркалом. – Прекратить! Прекратить! Наташа!.. Наташа!..

Пляска моя была пляскою бессилия и потерянности. Пляска моя была биением сорвавшейся капли, кратким трепетом оборванной струны.

Звуки вскоре затихли, звуков никаких не стало. Ясно, что это могло означать. Я был один, я теперь всегда буду один. Быть может, я сделаюсь слеп, глух, безразличен, бесцеремонен, безжалостен...

Однако пора сделать кое-какие выводы. Да, так. Точно!.. Всё прежнее ныне состоит под судом моего мутного настоящего. Решено: с завтрашнего дня начинаю писать справа налево и отказываюсь от десятичного исчисления. Остаётся только прямохождение и несколько тысяч слов единственно известного мне языка. Но это уж преодолеть будет посложнее, пожалуй.

Я не знал, как провёл остаток дня. День будто порошком просыпался мимо меня. Не крахмалом, не тальком, но лишь тяжёлым порошком, быть может, содержащим свинец, ванадий или висмут.

Я сделался заложником навязчивых неощутимостей.

Обессиленный я заснул. И снились мне оргии звуков, ритуалы артикуляций, мистерии межбуквенных интервалов.

Ещё мне привиделось, будто я говорил пред народом (слов не помню), а Бог и мир лизали мои подошвы. Всё человеческое во мне было тысячекратным, и в этом-то заключалось самое ужасное.

Проснулся я от чужих прикосновений. О нет, впрочем, прикосновениями назвать это было нельзя: меня схватили, меня прижимали к постели чьи-то сильные руки, меня стали душить. Была уже ночь, глубокая ночь, темно, но я вырвался, я всё-таки вырвался, я расшвырял в стороны всех своих мучителей, я бросился зажигать свет. Слышался испуганный топот многих пар ног, свет вспыхнул, но в комнате уж не было никого. Лишь проволоочная удавка валялась на полу. Смятая же постель не была, конечно, никакой уликой.

Я схватил свою киянку с короткою ручкой и бросился в прихожую. Из всех сил я ударил по зеркалу, стекло зазвенело, осколки посыпались на пол, один из них поранил мне ногу. Я бил ещё киянкою в стену, когда уже ни одного осколка стекла не было на прежнем месте зеркала.

Наташа! Наташа! Никогда мне больше не увидеть тебя!.. Что же я сделал? Я оборвал все нити, отринул все надежды, расточил все шансы. Оставалось только Смоленское, одно лишь Смоленское кладбище, одиннадцать часов... вот только утра или вечера? Быть может, я там увижу кого-то из них!.. Возможно даже, Игнатия. Вот уж тогда-то я выпытаю у них всё, я заставлю их говорить, они у меня не отвертятся.

Я едва дожил до десяти утра. Чудо было, что я сумел это сделать.

Они все нарочно старались отбросить меня подальше от надмирного пьедестала своими тотальными профанациями...

Я был одет, я кубарем слетел со своего четвёртого этажа. Во дворе меня смутили окрестные мальчишки. Они издали показывали на меня пальцами и что-то кричали.

– Смотрите! Гений, гений пошел! – кричал один из них, самый наглый.

– Гений, гений! – дразнил меня другой.

– А чего он тогда такой потрёпанный? – крикнул ещё третий.

– Бээээ!... – крикнул и четвёртый, изображая, должно быть, иную глупую домашнюю скотину.

Ну вот, сразу уж и потрёпанный. Попробовали бы прожить, продумать, прочувствовать с моё!.. Я бы тогда на вас самих посмотрел!.. Быть может, существование моё могло хоть как-то оправдаться перед обстоятельствами поставкою иных надмирных услуг.

Я замахнулся на мальчишек, но они не испугались – лишь стали дразнить меня ещё злее. Тогда я побежал от них.

Зато я умел иною немислимой фразой очаровывать молоденьких музыкантш. Мне представлялась такая возможность, едва я выбежал из дома. Они несли с собою папки с нотами и шли в гинекологию, ту, что почти напротив моего дома. Немного наискось.

– Если бы вы юною своей музыкой могли восстановить или взлелеять моё утраченное отражение, – крикнул я, пробегая мимо музыкантш, усмехнувшись с заносчивою хитрецою. – Как это было бы хорошо!..

– Что? – застыли на месте продвинутые девицы, и я ощутил торжество.

Вообще гинекология – лучшая из всех дамских хитростей, чуть что – и они пускают её в ход, не тяжёлую артиллерию свою, конечно (тяжёлая у них тяжелей), но всё же какую-то артиллерию.

– Я имею в виду независимость ваших существований, – важно сказал ещё я, тоже остановившись на минуту, – бросившую случайный свет на моё существование. Но свет этот никогда не находит отражения.

– Ну и даёт! – прыснула одна.

– Бывает же такое!.. – хохотнула и другая.

– И не говори! – подытожила первая.

Тут уж они окончательно нырнули в свою гинекологию, и дальнейшая возможная дискуссия оказалась бесцельной.

Чёрт побери, они вели себя неудачно!

Даже и приходя в свои разнузданные искусства, они всё же остаются прежними кисейными барышнями и акварельными юношами. А так быть не должно, истинно вам говорю!

Дома вокруг были низки, они казались присевшими. Улицы встретили меня толчеёю, будто бы вся их гордость была в одних толчеях. Я же не мог с ними смешиваться, словно ртуть с водою.

Видел я ещё старика, который будто со всего мира собрал его дряблость и сгрудил ту в своём лице, в своих щеках, в своей шее. При таком очевидном бессилии жизни в сём согбенном существе я ожидал увидеть и скорбность взгляда, панику пред собою и пред следующим днём своим, но скорбности вовсе не замечалось. Взгляд старика был безразличным, взгляд его был никаким.

Со стариком я не стал заговаривать. Хотя мне и не терпелось разузнать у него кое-что о его обыденном самочувствии.

Да какое право вы имеете быть никакими или даже просто заурядными при такой-то согбенности? Для чего вы прожили свои жалкие жизни? Какую работу, угодную миру, делали вы в меру жалких навыков, умений, сил и смысла своих? Красили скамейки, сводили дебет с кредитами, растили помидоры на жалких своих грядках? Производили ничтожные потомства, которым и не могли передать ничего иного, кроме идиотизмов своих, желчностей и понуростей? И так уж мир задыхается от человека, а тут ещё вы все!.. Отчего вы к концу дней своих не излучаете тихого света благородства, совершенства и мудрости?! Увидишь такой свет и порадуешься. За человека порадуешься, за себя самого порадуешься. Есть, мол, и у тебя

шанс на достоинство в исходе дней твоих. Чёрт побери, да кто вам сказал, что вам вообще следовало бы являться на свет с такими-то скудоумиями и неприглядностями?! Ничтожные, обыкновенные, заурядные, к вам моя великая ксенофобия!

Это было уж на какой-то линии острова, а номера я не запомнил. Я вообще никогда номера не запоминаю. У улиц номеров не бывает, не должно быть. Всякий номер – лишь низшая ступень уличных кличек. Хорошо ещё хоть стрелка, с её биржею, с её колоннами, была далеко. Никогда не любил стрелки за её глупую классицистскую помпезность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.